

БЕЛЛА
АХМАДУЛИНА
УРОКИ
МУЗЫКИ



БЕЛЛА
АХМАДУЛИНА
УРОКИ
МУЗЫКИ

С Т И Х И

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

МОСКВА

1969

В книгу «Уроки музыки» собрано главное из того, что написано Беллой Ахмадулиной за последнее время.

Наряду с лирическими стихотворениями в сборник вошли небольшие поэмы «Моя родословная», «Сказка о дожде», «Озноб», «Приключение в антикварном магазине».

Художники

А. Гольдман и В. Локшин

МОТОРОЛЛЕР

Завиден мне полет твоих колес,
о мотороллер розового цвета!
Слежу за ним, не унимая слез,
что льют без повода в начале лета.

И девочке, припавшей к седоку
с ликующей и гибельной улыбкой,
кажусь я приникающей к листку,
согбенной и медлительной улиткой.

Прощай! Твой путь лежит поверх меня
и меркнет там, в зеленых отдаленьях.
Две радуги, два неба, два огня,
бесстыдница, горят в твоих коленях.

И тело твое светится сквозь плащ,
как стебель тонкий сквозь стекло
и воду.

Вдруг из меня какой-то странный плач
выпархивает, пискнув, на свободу.

Так слабенький твой голосок поет,
и песенки мотив так прост и вечен.
Но, видишь ли, веселый твой полет
недвижностью моей уравновешен.

Затем твои качели высоки
и не опасно головокруженье,
что по другую сторону доски
я делаю обратное движенье.

Пока ко мне нисходит тишина,
твой шум летит в лужайках
отдаленных.

Пока моя походка тяжела,
подъемлешь ты два крылышка зеленых.

Так пронисы! — покуда я стою.
Так лепечи! — покуда я немею.
Всю легкость поднебесную твою
я искупаю тяжестью своею.

НОЧЬ

Уже рассвет темнеет с трех сторон,
а все руке недостает отваги,
чтобы пробиться к белизне бумаги
сквозь воздух, затвердевший
над столом.

Как непреклонно честный разум мой
стыдится своего несовершенства,
не допускает руку до блаженства
затеять ямб в беспечности былой!

Меж тем, когда полна значенья тьма,
ожог во лбу от выдумки неточной,
мощь кофеина и азарт полночный
легко принять за остроту ума.

Но, видно, впрямь велик и невредим
рассудок мой в безумье этих бдений,

Какая боль — под пыткой немоты
все ж не признаться ни единым словом
в красе всего, на что зрачком суровым
любовь моя глядит из темноты!

Чего стыжусь? Зачем я не вольна
в пустом дому, средь снежного разлива,
писать не хорошо, но справедливо —
про дом, про снег, про синеву окна?

Не дай мне бог бесстыдства пред листом
бумаги, беззащитной предо мною,
пред ясной и бесхитростной свечою,
перед моим, плывущим в сон, лицом.

ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА

Вот к будке с газированной водой,
всех автоматов баловель надменный,
таинственный ребенок современный
подходит, как к игрушке заводной.

Затем, самонадеянный фантаст,
монету влажную он опускает в щелку
и, нежным брызгам подставляя щеку,
стаканом ловит розовый фонтан.

О, мне б его уверенность на миг
и фамильярность с тайною простою!
Но нет, я этой милости не стою,
пускай прольется мимо рук моих.

А мальчуган, причастный чудесам,
несет в ладони семь стеклянных граней,

и отблеск их летит на красный гравий
и больно ударяет по глазам.

Робея, я сама вхожу в игру
и поддаюсь с блаженным чувством
риска
соблазну металлического диска,
и зампраю, и стакан беру.

Воспрянув из серебряных оков,
родится омут сладкий и соленый,
неведомым дыханьем населенный
и свежей толчеею пузырьков.

Все радуги, возникшие из них,
пронзают небо в сладости короткой,
и вот уже, разнеженный щекоткой,
семь вкусов спектра пробует язык.

И автомата темная душа
взирает с доброю старомодной,
словно крестьянка, что рукой холодной
даст путнику напиться из ковша.

МАГНИТОФОН

В той комнате под чердаком,
в той нищенской, в той суверенной,
где старомодным чудачком
задор владеет современный,

где вокруг нечистого стола,
среди беды претенциозной,
капроновые два крыла
проносит ангел грациозный, —

в той комнате, в тиши ночной,
во глубине магнитофона,
уже не защищенный мной,
мой голос плачет отвлеченно.

Я знаю — там, пока я сплю,
жестокий медиум колдует

и душу слабую мою
то жжет, как свечку, то задует.

И гоголевской Катериной
в зеленом облаке окна
танцует голосок старинный
для развлечения колдуна.

Он так испуганно и кротко
является чужим очам,
как будто девочка-сиротка,
запроданная циркачам.

Мой голос, близкий мне досель,
воспитанный моей гортанью,
лукавящий на каждом «эль»,
невнятно склонный к заиканью,

возникший некогда во мне,
моим губам еще родимый,
вспорхнув, остался в стороне,
как будто вздох необратимый.

Одет бесплотной наготой,
изведавший ее приятность,

уж он вкусил свободы той
бесстыдство и невероятность.

И в эту ночь, там, из угла,
старик к нему взывает снова,
в застиранные два крыла
целуя ангела ручного.

Над их объятием дурным
магнитофон во тьме хлопочет,
мой бедный голос пятки им
прозрачным пальчиком щекочет.

Пока я сплю, злорадству их
он кажет нежные изъяны
картавости — и снов моих
нецеломудренны туманы.

МАЛЕНЬКИЕ САМОЛЕТЫ

Ах, мало мне другой заботы,
обременяющей чело, —
мне маленькие самолеты
все снятся, не пойму с чего.

Им все равно, как сняться мне:
то, как птенцы, с моей ладони
они зерно берут, то в доме
живут, словно сверчки в стене.

Иль тычутся в меня они
носами глупыми: рыбешка
так ходит возле ног ребенка,
щекочет и смешит ступни.

Порой вокруг моего огня
они толкаются и слепнут,

читать мне не дают, и лепет
их крыльев трогает меня.

Еще придумали: детьми
ко мне пришли и со слезами,
едва с моих колен слезали,
кричали: «На руки возьми!»

Прогонишь — снова тут как тут:
из темноты, из блеска ваксы,
кося белком, как будто таксы,
тела их длинные плывут.

Что ж, он навек дарован мне —
сон жалостный, сон современный.
и в нем — ручной, несоразмерный
тот самолетик в глубине?

И все же, отрезвев от сна,
иду я на аэродромы —
следить огромные те громы,
озвучившие времена.

Когда в преддверьи высоты
всесильный действует пропеллер,

я думаю — ты все проверил,
мой маленький? Не вырос ты.

Ты здесь огромным серебром
всех обманул — на самом деле
ты — крошка, ты — дитя, ты — еле
заметен там, на голубом.

И вот мерцаем мы с тобой
на разных полюсах пространства.
Наверно, боязно расстаться
тебе со мной — такой большой?

Но там, куда ты вознесен,
во тьме всех позывных мелодий,
пускай мой добрый, странный сон
хранит тебя, о самолетик!

ВСТУПЛЕНИЕ В ПРОСТУДУ

Прост путь к свободе, к ясности ума —
достаточно, чтобы озябли ноги.
Осенние прогулки вдоль дороги
располагают к этому весьма.

Грипп в октябре — всевидящ, как господь.
Как ангелы на крыльях стрекозиных,
слетают насморки с небес предзимних
и нашу околдовывают плоть.

Вот ты проходишь меж деревьев и стен,
сам для себя неведомый и странный,
пока еще банальности туманной
костей твоих не обличил рентген.

Еще ты скучен, и здоров, и груб,
но вот тебе с улыбкой добродушной

простуда шлет свой поцелуй воздушный,
и медленно он достигает губ.

Отныне болен ты. Ты не должник
ни дружб твоих, ни праздничных
процессий.

Благоговейно подтверждает Цельсий
твой сан особый среди людей иных.

Ты слышишь, как щекочет, как течет
под мышкой ртуть, она замрет — и тотчас
определит серебряная точность,
какой тебе оказывать почет.

И аспирин тягостный глоток
дарит тебе непринужденность духа,
благие преимущества недуга
и смелости недобрый холодок.

БОЛЕЗНЬ

О, боль, ты — мудрость. Суть решений
перед тобою так мелка,
и осеняет темный гений
глаз захворавшего зверька.

В твоих губительных пределах
был разум мой высок и скуп,
но трав целебных поределых
вкус мятный уж не сходит с губ.

Чтоб облегчить последний выдох,
я, с точностью того зверька,
принюхавшись, нашла свой выход
в печальном стебельке цветка.

О, всех простить — вот облегченье!
О, всех простить, всем передать

и нежную, как облученье,
вкусить всем телом благодать.

Прощаю вас, пустые скверы!
При вас лишь, в бедности моей,
я плакала от смутной веры
над капюшонами детей.

Прощаю вас, чужие руки!
Пусть вы протянуты к тому,
что лишь моей любви и муки
предмет, не нужный никому.

Прощаю вас, глаза собачьи!
Вы были мне укор и суд.
Все мои горестные плачи
досель эти глаза несут.

Прощаю недруга и друга!
Целую наспех все уста!
Во мне, как в мертвом теле круга,
законченность и пустота.

И взрывы щедрые, и легкость,
как в белых дребезгах перин,

и уж не тягостен мой локоть
чувствительной черте перил.

Лишь воздух под моею кожей.
Жду одного: на склоне дня,
охваченный болезнью схожей,
пусть кто-нибудь простит меня.

СОН

О, опрометчивость моя!
Как видеть сны мои решаюсь?
Так дорого платить за шалость —
заснуть? Но засыпаю я.

И снится мне, что свеж и скуп
сентябрьский воздух. Все знакомо:
осенняя пригожесть дома,
вкус яблок, не сходящий с губ.

Но незнакомый садовод
возделывает сад знакомый
и говорит, что он законный
владелец. И войти зовет.

Войти? Как можно? Столько раз
я знала здесь печаль и гордость,

и нежную шагов нетвердость,
и нежную незречность глаз.

Уж минуло так много дней,
а нежность — облаком вчерашним,
а нежность — обмороком влажным
меня омыла у дверей.

Но садоводова жена
меня приветствует жеманно.
Я говорю: — Как здесь туманно...
и я здесь некогда жила.

Я здесь жила — лет сто назад.
— Лет сто? Вы шутите?
— Да нет же!
Шутить теперь? Когда так нежно
столетием прошлым пахнет сад?

Сто лет прошло, а все свежий
в ладонях нежности — к родимой
коре деревьев, запах дымный
в саду все тот же.

— Не скажи! —

промолвил садовод в ответ.

Затем спросил: — Под паутиной,
со старомодной челкой длинной,
не ваш ли в чердаке портрет?

Ваш сильно изменился взгляд
с тех давних пор, когда в кручине,
не помню, по какой причине,
вы умерли — лет сто назад.

— Возможно, но — жить так давно,
лишь тенью в чердаке остаться,
и все затем, чтоб не расстаться
с той нежностью? Вот что смешно.

МОИ ТОВАРИЩИ

А. Вознесенскому

Когда моих товарищей корят,
я понимаю слов закономерность,
но нежности моей закаменелость
мешает слушать мне, как их корят.

Я горестно упрекам этим внемлю,
я головой киваю: слаб Андрей!
Он держится за рифму, как Антей
держался за спасительную землю.

За ним я знаю недостаток злой:
кощунственно венчать «гараж»
с «геранью»,
и все-таки о том судить Гераклу,
поднявшему Антея над землей.

Оторопев, он свой автопортрет
сравнил с аэропортом —
это глупость.

Гораздо больше в нем азарт и гулкость
напоминают мне автопробег.

И я его корю: зачем ты лих?
Зачем ты воздух детским лбом таранишь?
Все это так. Но все ж он мой товарищ.
А я люблю товарищей моих.

Люблю смотреть, как, прыгнув из дверей,
выходит мальчик с резвостью жонглера.
По правилам московского жаргона
люблю ему сказать: «Привет, Андрей!»

Люблю, что слова чистого глоток,
как у скворца, поигрывает в горле.
Люблю и тот, неведомый и горький,
серебряный какой-то холодок.

И что-то в нем, хвали или кори,
есть от пророка, есть от скомороха,
и мир ему — горяч, как сковородка,
сжигающая руки до крови.

Все остальное ждет нас впереди.

Да будем мы к своим друзьям

пристрастны!

Да будем думать, что они прекрасны!

Терять их страшно, бог не приведи!



По улице моей который год
звучат шаги — мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.

О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.

Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонюсь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоём лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву и поднести к лицу
и ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и — мудрая — я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверят мне
предметы.

Природа, прислонясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.

И вот тогда — из слез, из темноты,
из бедного невежества бывшего
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.

ДРУГОЕ

Что сделалось? Зачем я не могу,
уж целый год не знаю, не умею
слагать стихи и только немоту
тяжелую в моих губах имею?

Вы скажете — но вот уже строфа,
четыре строчки в ней, она готова.
Я не о том. Во мне уже стара
привычка ставить слово после слова.

Порядок этот ведает рука,
я не о том. Как это прежде было?
Когда происходило — не строка —
другое что-то. Только что? — забыла.

Да, то, другое, разве знало страх,
когда шалило голосом так смело,
само, как смех, смеялось на устах
и плакало, как плач, если хотело?

НЕМОТА

Кто же был так силен и умен?
Кто мой голос из горла увел?
Не умеет заплакать и нем
рана черная в горле моем.

Сколь достойны любви и хвалы,
март, простые деянья твои,
но мертвы моих слов соловьи,
и теперь их сады — словари.

— О, воспой! — умоляют уста
снегопада, обрыва, куста.
Я кричу — но, как пар изо рта,
округлилась у губ немота.

Вдохновенье — чрезмерный, сплошной
вдох мгновенья душою немой,
не спасет ее выдох иной,
кроме слова, что сказано мной.

Задыхаюсь, идохну, и лгу,
что еще не останусь в долгу
пред красою деревьев в снегу,
о которой сказать не могу.

Облегчить переполненный пульс —
как угодно, нечаянно, пусть!
И во все, что воспеть тороплюсь,
воплещусь навсегда, наизусть.

А за то, что была так нема,
и любила всех слов имена,
и устала вдруг, как умерла, —
сами, сами воспойте меня.

невнятной речью. И когда горит
огонь созвездий, принятых над Пермью,
озябшим горлом, не способным к пенью,
ребенок этот слово говорит.

Как говорит ребенок! Неужели
во мне иль в ком-то, в неживом ущельи
гортани, погруженной в темноту,
была такая чистота проема,
чтоб уместить, во всей красе объема,
всезначающего слова полноту?

О, нет, во мне — то всхлип, то хрип,
и снова
насущенный шум, занявший место слова
там, в легких, где теснятся дым и тень,
и шее не хватает мощи бычьей,
чтобы дыханья суетный обычай
вершить было не трудно и не лень.

Звук немоты, железный и корявый,
терзает горло ссадиной кровавой,
заговорю — и обагрю платок.

В безмолвие, как в землю, погребенной,
мне странно знать, что есть в Перми
ребенок,
который слово выговорить мог.

ОСЕНЬ

Не действуя и не дыша,
все слаще обмирает улей.
Все глубже осень, и душа
все опытнее и округлей.

Она вовлечена в отлив
плода, из пустяка пустого
отлитого. Как кропотлив
труд осенью, как тяжело слово.

Значительнее, что ни день,
природа ум обременяет,
похожая на мудрость лень
уста молчаньем осеняет.

Даже дитя, велосипед
влекущее, вертя педалью,
вдруг поглядит на белый свет
с какой-то ясною печалью.

ТОСКА ПО ЛЕРМОНТОВУ

О, Грузия, лишь по твоей вине,
когда зима грязна и белоснежна,
печаль моя печальна не вполне,
не до конца надежда безнадежна.

Одну тебя я счастливо люблю,
и лишь твое лицо не лицемерно.
Рука твоя на голову мою
ложится благосклонно и целебно.

Мне не застать врасплох твоей любви.
Открытыми объятия ты держишь.
Все говоры, все шепоты твои
мне на ухо нашепчешь и утетишь.

Но в этот день не так я молода,
чтоб выбирать меж севером и югом.
Свершилась поздней осени беда,
былой уют украсив неуютом.

Лишь черный зонт в моих руках гремит.
Живой и мрачной силой он напрягся.
То, что тебя покинуть норовит, —
пускай покинет, что держать напрасно.

Я отпускаю зонт и не смотрю,
как будет он использовать свободу.
Я медленно иду по октябрю,
сквозь воду и холодную погоду.

В чужом доме, не знаю почему,
я бег моих колен остановила.
Вы пробовали жить в чужом доме?
Там хорошо. И вот как это было.

Был подвиг одиночества свершен,
и я могла уйти. Но так случилось,
что в этом доме, в ванной, жил сверчок,
поскрипывал, оказывал мне милость.

Моя душа тогда была слаба
и потому — с доверьем и тоскою —
тот слабый скрип, той песенки слова
я полюбила слабою душою.

Привыкла вскоре добрая семья,
что так, друг друга не опровергая,
два пустяка природы — он и я —
живут тихонько, песенки слагая.

Итак — я здесь. Мы по ночам не спим,
я запою — он отвечать умеет.
Ну, хорошо. А где же снам моим,
где им-то жить? Где их бездомность реет?

Они все там же, там, где я была,
где высочайший юноша вселенной
меж туч и солнца, меж добра и зла
стоял вверху горы уединенной.

О, там, под покровительством горы,
как в медленном недоумении танца,
течения Арагвы и Куры
ни встретиться не могут, ни расстаться.

Внизу так чист, так мрачен Мцхетский
храм.

Души его воинственна молитва.
В ней гром мечей, и лошадиный храп,
и вечная за эти земли битва.

Где он стоял? Вот здесь, где монастырь
еще живет всей свежестью размаха,
где малый камень с легкостью вместил
великую тоску того монаха.

Что, мальчик мой, великий человек?
Что сделал ты, чтобы воскреснуть болью
в моем мозгу и чернотой меж век,
все плачущей над маленьким тобою?

И в этой, богом замкнутой, судьбе,
в своей низжайшей муке превосходства,
хотя б сверчок любимому, тебе,
сверчок играл средь твоего сиротства?

Стой на горе! Не уходи туда,
где — только-то! — через четыре года
сомкнется над тобою навсегда
пустая, совершенная свобода!

Стой на горе! Я по твоим следам
найду тебя под солнцем, возле Мцхета.
Возьму себе всем зреньем, не отдам,
и ты спасен уже, и вечно это.

Стой на горе! Но чем к тебе добрей
чужой земли таинственная новость,
тем яростней соблазн земли твоей,
нужней ее сладчайшая суровость.

СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ
ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ
В ТБИЛИСИ

Мне — пляшущей под мцхетскою луной,
мне — плачущей любою мышцей в теле,
мне — ставшей тенью, слабою длиной,
не умещенной в храм Свети-Цховели,
мне — обнаженной ниткой серебра
продернутой в твою иглу, Тбилиси,
мне — жившей под звездою, до утра,
озябшей до крови в твоей теплице,
мне — не умевшей засыпать в ночах,
безумьем растлевающей знакомых,
имеющей зрачок коня в очах,
отпрянувшей от снов, как от загонов,
мне — в час зари поющей на мосту:
«Прости нам, утро, прегрешенья наши.
Обугленных желудков нищету
позолоти своим подарком, хаши»,
мне — скачущей наискосок и вспять
в бессоннице, в ее дурной потехе, —

о господи, как мне хотелось спать
в глубокой, словно колыбель, постели.

Спать — засыпая. Просыпаясь — спать.
Спать — медленно, как пригублять напиток.
О, спать и сон посасывать, как сладость,
пролив слюною сладости избыток.

Проснуться поздно, глаз не открывать,
чтоб дальше искушать себя секретом
погоды, осеняющей кровать
пока еще не принятым приветом.

Мозг слеп, словно остывшая звезда.
Пульс тих, как сок в непробужденном
древе.

И — снова спать! Спать долго. Спать
всегда,
Спать замкнуто, как в материнском чреве.

УРОКИ МУЗЫКИ

Люблю, Марина, что тебя, как всех,
что как меня, —
озябшею гортанью
не говорю: тебя — как свет! как снег! —
усильем шеи, будто лед глотаю,
стараюсь вымолвить: тебя, как всех,
учили музыке. (О, крах ученья!
Как если бы, под богов плач и смех,
свече внушали правила свеченья.)
Не ладили две равных темноты:
рояль и ты — два совершенных круга,
в тоске взаимной глухонемоты
терпя иноязычие друг друга.
Два мрачных исподлобья сведены
в неразрешимой и враждебной встрече:
рояль и ты — две сильных тишины,
два слабых горла музыки и речи.

Но твоего сиротства перевес
решает дело. Что рояль? — он узник
безгласности, покуда в до-диез
мизинец свой не окунет союзник.
А ты — одна. Тебе — подмоги нет.
И музыке трудна твоя наука —
не утруждая ранящий предмет
открыть в себе кровотечение звука.
Марина, до! До — детства, до — судьбы,
до — ре, до — речи, до — всего, что после,
равно, как вместе, мы склоняли лбы
в той общедетской предрояльной позе,
как ты, как ты, вцепившись в табурет, —
о карусель и Гедике ненужности! —
раскручивать сорвавшую берет,
свистящую вокруг головы окружность.
Марина, это все — для красоты
придумано, в расчете на удачу
раз накричаться: я — как ты, как ты!
И с радостью бы крикнула, да — плачу.

СВЕЧА

Всего-то — чтоб была свеча,
свеча простая, восковая,
и старомодность вековая
так станет в памяти свежа.

И поспешит твое перо
к той грамоте витиеватою,
разумной и замысловатою,
и ляжет на душу добро.

Уже ты мыслишь о друзьях
все чище, способом старинным,
и сталактитом стеариным
займешься с нежностью в глазах.

И Пушкин ласково глядит,
и ночь прошла, и гаснут свечи,
и нежный вкус родимой речи
так чисто губы холодит.

ПЕЙЗАЖ

Еще ноябрь, а благодать
уж сыплется, уж смотрит с неба.
Иду и хоронюсь от сзета,
чтоб тенью снег не утруждать.

О стеклодув, что смысл дутья
так выразил в сосульках этих!
И, запрокинув свой беретик,
на вкус их пробует дитя.

И я, такая молодая,
со сладкой льдинкою во рту,
оскальзываясь, приседаю,
по снегу белому иду.

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

О, как люблю я пребыванье рук
в блаженстве той свободы пустяковой,
когда былой уже закончен труд
и — лень и сладко труд затеять новый.

Как труд былой томил меня своим
небыстрым ходом! Но — за проволочку —
теперь сполна я расквиталась с ним,
пощечиной в него вlepивши точку.

Меня прощает долгожданный сон.
Целует в лоб младенческая легкость.
Свободен — легкомысленный висок.
Свободен — спящий на подушке локоть.

Смотри, природа, — розов и мордаст,
так кротко спит твой бешеный сангвиник,

всем утомленьем вклеившись в матрац,
как зуб в десну, как дерево в суглинок.

О, спать да спать, терпеть счастливый
гнет
неведенья рассудком безрассудным.
Но день воскресный уж баклуши бьет
то детским плачем, то звонком посудным.

Напялив одичавший неуют
чужой плечам, остывшей за ночь кофты,
хозяйки, чтоб хозяйничать, встают,
и пробуждает ноздри запах кофе.

Пора вставать! Бесстрастен и суров,
холодный душ уже развесил розги.
Я прыгаю с постели, как в сугроб —
из бани, из субтропиков — в морозы.

Под гильотину ледяной струи
с плеч голова покорно полетела.
О умывальник, как люты твои
чудовища — вода и полотенце.

Прекрасен день декабрьской теплоты,
когда туманы воздух утолщают
и зрелых капель чистые плоды
бесплодые зимних веток утешают.

Ну что ж, земля, сегодня — отдых мой,
ликую я — твой добрый обыватель,
вдыхатель твоей влажности густой,
твоих сосуллек теплых обыватель.

Дай созерцать твой белый свет и в нем
не обнаружить малого пробела,
который я, в усердии моем,
восполнить бы желала и умела.

Играя в смех, в иные времена,
нога ледок любовно расколола.
Могуществом кофейного зерна
язык так пьян, так жаждет разговора.

И, словно дым, затмивший недра труб,
глубоко в горле возникает голос.
Ко мне крадется ненасытный труд,
терпящий новый и веселый голод.

Ждет насыщенья звуком немота,
зияя пустотою, как скворешник,
весну корящий, — разве не могла
его наполнить толчеей сердечек?

Прощай, соблазн воскресный! Меж дерев
мне не бродить. Но что все это значит?
Бумаги белый и отверстый зев
ко мне взывает и участия алчет.

Иду — понть губами клюв птенца,
наскучившего и опять родного.
В ладонь склоняясь тяжестью лица,
я из безмолвья вызволяю слово.

В неловкой позе у стола присев,
располагаю голову и плечи,
чтоб обижал и ранил их процесс,
к устам влекущий восхождение речи.

Я — мускул, нужный для ее затей.
Речь так спешит в молчанье не погибнуть,
свершить звукорождение и затем
забыть меня навеки и покинуть.

Я для нее — лишь дудка, чтоб дудеть.
Пускай дудит и веселит окрестность.
А мне опять — заснуть, как умереть,
и пробудиться утром, как воскреснуть.

СУМЕРКИ

Есть в сумерках блаженная свобода
от явных чисел века, года, дня.

Когда? — неважно. Вот открытость входа
в глубокий парк, в далекий мельк огня.

Ни в сырости, насытившей соцветья,
ни в деревьях, исполненных любви,
нет доказательств этого столетья,—
бери себе другое — и живи.

Ошибкой зренья, заблуждением духа
возвращена в аллеи старины,
бреду по ним. И встречная старуха,
словно признав, глядит со стороны.

Средь бела дня пустынно это место.
Но в сумерках мои глаза вольны

увидеть дом, где счастливо семейство,
где невпопад и пылко влюблены,

где вечно ждут гостей на именины —
шуметь, краснеть и руки целовать,
где и меня к себе рукой манили,
где никогда мне гостем не бывать.

Но коль дано их голосам беспечным
стать тишиною неба и воды, —
чьи пальчики по клавишам лепечут?
Чьи кружева вступают в круг беды?

Как мне досталась милость их привета,
тост медленный, затеянный людьми,
старинный вальс, старинная примета
чужой печали и чужой любви?

Еще возможно для ума и слуха
вести игру, где действуют река,
пустое поле, дерево, старуха,
деревня в три незрячих огонька.

Души моей невнятная улыбка
блуждает там, в беспамятстве, вдали,

в той родине, чья странная ошибка
даст мне чужбину речи и земли.

Но темнотой испуганный рассудок
трезвеет, рыщет, снова хочет знать
живых вещей отчетливый рисунок,
мой век, мой час, мой стол,
мою кровать.

Еще плутая в омуте росистом,
я слышу, как на диком языке
мне шлет свое проклятие транзистор,
сжатый в непреклонном кулаке.

В ОПУСТЕВШЕМ ДОМЕ ОТДЫХА

Впасть в обморок беспамятства, как плод,
уснувший тихо средь ветвей и грядок,
не сознавать свою живую плоть,
ее чужой и грубый беспорядок.

Вот яблоко, возникшее вчера.
В нем — мышцы влаги, красота пигмента,
то тех, то этих действий толчея.
Но яблоку так безразлично это.

А тут, словно с оравую детей,
не совладаешь со своим же телом,
не предусмотршишь всех его затей,
не расплетишь его переплетений.

И так надоедает под конец
в себя смотреть, как в пациента лекарь,

все время слышать треск своих сердец
и различать щекотный бег молекул.

И отвернуться хочется уже,
вот отвернусь, но любопытно глазу.
Так музыка на верхнем этаже
мешает и заманивает сразу.

В глуши, в уединении моем,
под снегом, вырастающим на кровле,
живу одна и будто бы вдвоем —
со вздохом в легких, с удареньем крови.

То улыбнусь, то пискнет голос мой,
то бьется пульс, как бабочка в ладони.
Ну, слава богу, думаю, живой
остался кто-то в опустевшем доме.

И вот тогда тебя благодарю,
мой организм, живой зверек природы,
верши, верши простую жизнь свою,
как солнышко, как лес, как огороды.

И впредь играй, не ведай немоты!
В глубоком одиночестве, зимою,
я всласть повеселюсь средь пустоты,
тесно и шумно населенной мною.

ГРУЗИНСКИХ ЖЕНЩИН ИМЕНА...

Там в море паруса плутали
и, непричастные жаре,
медлительно цвели платаны
и осыпались в декабре.

Мешались гомоны базара,
и обнажала высота
переплетения базальта
и снега яркие цвета.

И лавочка в прибрежном парке
бела вставала и нема,
и смутно виноградом пахли
грузинских женщин имена.

Они переходили в лепет,
который к морю выбегал,

и выплывал, как черный лебедь,
и странно шею выгибал.

Смеялась женщина Ламара,
бежала по камням в воде,
и каблучки по ним ломала,
и губы красила в вине.

И мокли волосы Медеи,
вплетались руки в водопад,
и капли сохли и мелели
и загорались невпопад.

И, заглушая олеандры,
собравшись все в одном цветке,
вitalo имя Ариадны
и растворялось вдалеке.

Едва опершийся о сваи,
там приникал к воде причал.
— Цисана! — из окошка звали.
— Натэла! — голос отвечал.

ЗИМА

О жест зимы ко мне,
холодный и прилежный.
Да, что-то есть в зиме
от медицины нежной.

Иначе как же вдруг
из темноты и муки
доверчивый недуг
к ней обращает руки?

О милая, колдуй,
заденет лоб мой снова
целебный поцелуй
колечка ледяного.

И все сильнее соблазн
встречать обман доверьем

смотреть в глаза собак
и прикипать к деревьям.

Прощать, как бы играть,
с разбега, с поворота
и, завершив прощать,
простить еще кого-то.

Сравниться с зимним днем,
с его пустым овалом,
и быть всегда при нем
его оттенком малым.

Свести себя на нет,
чтоб вызвать за стеною
не тень мою, а свет,
не заслоненный мною.

ЗИМНЯЯ ЗАМКНУТОСТЬ

Б. Окуджаве

Странный гость побывал у меня в феврале.
Снег занес мою крышу еще в январе,
предоставив мне замкнутость дум и деяний.
Я жила взаперти, как огонь в фонаре
или как насекомое, что в январе
уместилось в простор тесноты идеальной.

Странный гость предо мною внезапно
возник,
и тем более странен был этот визит,
что снега мою дверь охраняли сурово.
Например — я зерно моим птицам несла,
«Можно ль выйти наружу?» — спросила.
«Нельзя», —
мне ответила сильная воля сугроба.

Странный гость, говорю вам, неведомый
гость.
Он прошел через стенку насквозь, словно
гвоздь,
кем-то вбитый извне для неведомой цели.
Впрочем, что же еще оставалось ему,
коль в доме, замурованном в снежную тьму,
не осталось для входа ни двери, ни щели.

Странный гость — он в гостях не гостил,
а царил.
Он огнем исцелил свой промокший
цилиндр,
из-за пазухи выпустил свинку морскую
и сказал: «О, пардон, я продрог, и притом
я ушибся, когда проходил напролом
в этот дом, где теперь простудиться
рискую».

Я сказала: «Огонь вас утешит, о гость.
Горсть орехов, лина быстротечная гроздь —
вот мой маленький юг среди вьюг
справедливых.

Что касается бедной царевны морей —
ей давно приготовлен любовью моей
плод капусты, возвращенный в нездешних
заливах».

Странный гость похвалился: «Заметьте,
мадам,
что я склонен к слезам, но не склонны
к следам
мои ноги промокшие. Весь я — загадка!»
Я ему объяснила, что я не педант
и за музыкой я не хожу по пятам,
чтобы видеть педаль под ногой музыканта.

Странный гость закричал: «Мне
не нравится тон
ваших шуток! Потом будет жуток ваш стон!
Очень плохи дела ваших духа и плоти!
Потому без стыда я явился сюда,
что мне ведома бедная ваша судьба».
Я спросила его: «Почему вы не пьете?»

Странный гость не побрезговал выпить
вина.

Опрометчивость уст его речи свела
лишь к ошибкам, улыбкам и доброму плачу:
«Протяжение спора угодно душе!
Вы, дитя мое, баловень и протече.
Я судьбу вашу как-нибудь переиначу.
Ведь не зря вещей зверь чистой шерстью
белел —
ошибитесь, возьмите счастливый билет!
Выбирайте любую утеху мирскую!»
Поклонилась я гостю: «Вы очень добры,
до поры отвергаю я ваши дары.
Но спасите прекрасную свинку морскую!

Не она ль мне по злому сиротству сестра?
Как остра эта грусть — озираться со сна
среди стихии чужой, а к своей
не пробиться.

О, как нежно марина, моряна, моря
неизбежно манят и минуют меня,
оставляя мне детское зренье провидца.

В остальном — благодарна я доброй
судьбе.
Я живу, как желаю, — сама по себе.

Бог ко мне справедлив и любезен издатель.
Старый пес мой взмывает к щеке, как
щенок.

И широк дивный выбор всевышних щедрот:
ямб, хорей, амфибрахий, анапест и
дактиль.

А вчера колокольчик в полях дребезжал.
Это старый товарищ ко мне приезжал.
Зря боялась — а вдруг он дороги не сыщет?
Говорила: когда тебя вижу, Булат,
два зрачка от чрезмерности зренья болят,
беспорядок любви в моем разуме свищет».

Странный гость засмеялся. Он знал,
что я лгу.
Не бывало саней в этом сиром снегу.
Мой товарищ с товарищем пьет
в Ленинграде.

И давно уж собака моя умерла —
стало меньше дыханьем в груди у меня.
И чураются руки пера и тетради.

Странный гость подтвердил: «Вы несчастны
теперь».

В это время открылась закрытая дверь.
Снег все падал и падал, не зная убытка.
Сколь вошедшего облик был смел и хорош!
И влекла петербургская кожа калош
след — лукавый и резвый, как будто
улыбка.

Я надеюсь, что гость мой поймет и зачтет,
как во мраке лица серебрился зрачок,
как был рус африканец и смугл россиянин!
Я подумала — скоро конец февралю —
и сказала вошедшему: «Радость! Люблю!
Хорошо, что меж нами не быть
расставаньям!»



Я думаю: как я была глупа,
когда стыдилась собственного лба, —
зачем он так от гения свободен?
Сегодня, став взрослее и трезвей,
хочу обедать посреди друзей —
лишь их привет мне сладок и угоден.
Мне снится сон: я мучаюсь и мчусь,
лицейскою возвышенностью чувств
пылает мозг в честь праздника простого.
Друзья мои, что так добры ко мне,
должны собраться в маленьком кафе
на площади Восстанья в полшестого.
Я прихожу и вижу: собрались.
Благословляя красоту их лиц,
плач нежности стоит в моей гортани.
Как встарь, моя кружится голова,
как встарь, звучат прекрасные слова
и пенье очарованной гитары.
Я просыпаюсь и спешу в кафе,

я оставляю шапку в рукаве,
не ведая сомнения пустого.
Я твердо помню мой недавний сон
и стол прошу накрыть на пять персон
на площади Восстанья в полшестого.
Я долго жду и вижу жизнь людей,
которую прибоем площадей
выносит вдруг на мой пустынный остров.
Так мне пришлось присвоить новосты встреч,
чужие тайны и чужую речь,
борьбу локтей, неведомых и острых.
Я поняла: я быть одна боюсь.
Друзья мои, прекрасен наш союз!
О, смилуйтесь, хоть вы не обещали.
Совсем одна, словно Мальмгрен во льду,
заточена, словно мигрень во лбу,
друзья мои, я требую пощады.
И все ж, пока слагать стихи смогу,
я вот как вам солгу иль не солгу.
Они пришли, не ожидая зова.
Сказали мне:

— Спешат твои часы. —

И были наши помыслы чисты
на площади Восстанья в полшестого.



Случилось так, что двадцати семи
лет от роду мне выпала отрада
жить в замкнутости дома и семьи,
расширенной прекрасным кругом сада.

Себя я предоставила добру,
с которым справедливая природа
следит за увяданием в бору
или решает участь огорода.

Мне нравилось забыть печаль и гнев,
не ведать мысли, не промолвить слова
и в детском неразумии дерев
терпеть заботу гения чужого.

Я стала вдруг здорова, как трава,
чиста душой, как прочие растения,

не более умна, чем дерева,
не более жива, чем до рождения.

Я улыбалась ночью в потолок,
в пустой пробел, где близко и приметно
белел во мраке очевидный бог,
имевший цель улыбки и привета.

Была так неизбежна благодать
и так близка большая ласка бога,
что прядь со лба — чтоб легче
целовать —
я убирала и спала глубоко.

Как будто бы надолго, на века,
я углублялась в землю и деревья.
Никто не знал, как мука велика
за дверью моего уединенья.

ГОСТИТЬ У ХУДОЖНИКА

Ю. Васильеву

Итог увяданья подводит октябрь.
Природа вокруг тяжела и серьезна.
В час осени крайний — так скучно локтям
опять ушибаться об угол сиротства.
Соседской четы непомерный визит
все длится, и я, всей душой утомляясь,
ни слова не вымолвлю — в горле висит
какая-то глухонемая туманность.
В час осени крайний — огонь погасить
и вдруг, засыпая, воспрянуть догадкой,
что некогда звали меня погостить
в доме у художника, там, за Таганкой.
И вот, аспирином задобрив недуг,
напялив калоши, — скорее, скорее

туда, где румяные щеки надув,
художник умеет играть на свирели.
О, милое зрелище этих затей!
Средь кистей, торчащих из банок и ведер,
играет свирель и двух малых детей
печальный топочет хороводик.
Два детские личика умудрены
улыбкой такую усталой и вечной,
как будто они в мирозданье должны
нести и описывать круг бесконечный.
Как будто творится века напролет
все это: заоблачный лепет свирели
и маленьких тел одинокий полет
над прочностью мира, во мгле акварели.
И я, притаившись в тени голубой,
застыв перед тем невеселым весельем,
смотрю на суровый их танец, на бой
младенческих мышц с тяготеньем вселенным.
Слабею, впадаю в смятенье невежд, —
когда, воссияв над трубою подзорной,
их в обморок вводит избыток небес,
терзая рассудок тоской тошнотворной.
Но полно! И я появляюсь в дверях,
недаром сюда я брела и спешила,

о, счастье, что кто-то так радостно рад,
рад так беспредельно и так беспричинно!
Явлению моих одичавших локтей
художник так рад, и свирель его рада,
и щедрые, ясные лица детей
даруют мне синее солнышко взгляда.
И входит, подходит та, милая, та,
простая, как холст, не насыщенный
грунтом.

Но кроткого, смиренного лба простота
пугает предчувствием сложным и грустным.
О, скромность холста, пока срок не пришел,
невинность курка, пока пальцем не тронешь,
звериный, до времени спящий прыжок,
нацеленный в близь, где играет звереныш.
Как мускулы в ней высоко взведены,
когда первобытным следит исподлобьем
три тени родные, во тьму глубины
запущенные виражом бесподобным.
О, девочка цирка, хранящая дом.
Все ж выдаст болезненно-звездная
бледность —
во что ей обходится маленький вздох
над бездной внизу, означающей бедность.

Какие клинки покидают ножны,
какая неисповедимая доблесть
улыбкой отвечает гневу нужды,
каменья ее обращая в съедобность?

Как странно незрима она на свету,
как слабо затылок ее позолочен,
но неколебимо хранит прямоту
прозрачный, стеклянный ее позвоночник.
И радостно мне любоваться опять
лицом ее, облаком не очевидным,
а рученьку боязно в руки принять,
как тронуть скорлупку в гнезде

СОЛОВЬИНОМ.

И я говорю: — О, давайте скорей
кружиться в одной карусели отвесной,
подставив горячие лбы под свирель,
под ивовый дождь ее чистых отверстий.
Художник на бочке высокой сидит,
как Пан, в свою хитрую дудку дудит.
Давайте, давайте кружиться всегда,
и все, что случится, — еще не беда,
ах, господи боже мой, вот вечеринка,

проносится около уха звезда,
под веко летит золотая соринка,
и кто мы такие, и что это вдруг.
цветет акварели голубенький дух,
и глина краснеет, как толстый ребенок,
и пыль облетает с холстов погребенных,
и дивные рожи румяных картин
являются нам, когда мы захотим.
Проносимся! И, посреди тишины,
целуется красное с желтым и синим,
и все одиночества душ сплочены
в созвездье одно притяжением сильным.

Жить в доме художника день или два
и дольше, но дому еще не наскучить,
случайно узнать, что стоят деревья
под тяжестью белой, повисшей на сучьях,
с утра втихомолку собраться домой,
брести облегченно по улице снежной,
жить дома, пока не придет за тобой
любви и печали порыв центробежный.

ПЛОХАЯ ВЕСНА

Пока клялись беспечные снега
блистать и стыть с прилежностью
металла,

пока пуховой шали не сняла
та девочка, которая мечтала
склонить к плечу оранжевый берет,
пустить на волю локти и колени,
чтоб не ходить, но совершать балет
хожденья по оттаявшей аллее,
пока апрель не затевал возни,
угодной насекомым и растеньям, —
взяв на себя несчастный труд весны,
безумцем становился неврастеник.

Среди гардин зимы, среди гордынь
сугробов, ледаколов, конькобежцев
он гнев весны претерпевал один,
став жертвою ее причуд и бешенств.

Он так поспешно окна открывал,
как будто смерть предпочитал неволе,
как будто бинт от кожи отрывал,
не устояв перед соблазном боли.

Что было с ним, сорвавшим жалюзи?
То ль сильный дух велел искать исхода,
то ль слабость щитовидной железы
выпрашивала горьких лакомств йода?

Он сам не знал, чьи силы, чьи труды
владеют им. Но говорят преданья,
что, ринувшись на поиски беды,
как выгоды он возжелал страданья.

Он закричал: — Грешна моя судьба!
Не гений я! И, стало быть, впустую,
гордясь огромной выпуклостью лба,
лелеял я лишь опухоль слепую!

Он стал бояться перьев и чернил.
Он говорил в отчаянной отваге:

— О господи! Твой худший ученик,
я никогда не оскверню бумаги.

Он сделался неистов и угрюм.
Он все отринул, что грозит блаженством.
Желал он мукой обострить свой ум,
побрезговав его несовершенством.

В груди птенцы пищали: не хотим!
Гнушаясь их красою бесполезной,
вбивал он алкоголь и никотин
в их слабый зев, словно сапог железный.

И проклял он родимый дом и сад,
сказав: — Как страшно просыпаться утром!
Как жжется этот раскаленный ад,
который именуется уютом.

Он жил в чужом дому, в чужом саду, —
и тем платил хозяйке любопытной,
что, голый и огромный, на виду
у всех вершил свой пир кровопролитный.

Ему давали пищи и питья,
шептались меж собой, но не корили
затем, что жутким будням их бытъя
он приходился праздником корриды.

Он то в пустой пельменной горевал,
то пил коньяк в гостиных полусвета
и понимал, что это — гонорар
за представленье: странности поэта.

Ему за то и подают обед,
который он с охотою съедает,
что гостъя, умница, искусствовед,
имеет право молвить: — Он страдает!

И он страдал. Об острие угла
разбил он лоб, казня его ничтожность,
но не обрел достоинства ума
и не изведal истин непреложность.

Он тишиной ответил на упрек
в проступке суеты и нетерпенья.

Виновен ли немой, что он не мог
использовать гортань для песнопенья?

Его встречали в скверах и пивных,
на площадях и на скамьях вокзала.
И, наконец, он головой поник
и так сказал (вернее, я сказала):

— Друзья мои, мне минет тридцать лет,
увы, итог тридцатилетья скуден.
Мой подвиг одиночества нелеп,
и суд мой над собою безрассуден.

Бог точно знал, кому какая честь,
мне лишь одна — немного и немало:
всегда пребуду только тем, что есть,
пока не стану тем, чего не стало.

Так в чем же смысл и польза этих мук,
привнесших в кожу белый шрам ожога?
Ужели в том, что мимолетный звук
мне явится, и я скажу: так много?

Затем свечу зажгу, перо возьму,
судьбе моей воздам благодаренье,
припомню эту бедную весну
и напишу о ней стихотворенье.

* * *

Он утверждал — «Между теплищ
и льдин, чуть-чуть южнее рая,
на детской дудочке играя,
живет вселенная вторая
и называется — Тифлис».

Ожог глазам, рукам — простуда,
любовь моя, мой плач — Тифлис,
природы вогнутый карниз,
где бог капризный, впав в каприз,
над миром примостил то чудо.

Возник в моих глазах туман,
брала рзбег моя ошибка,
когда тот город зыбко-зыбко
лег полукружьем, как улыбка
благословенных уст Тamar.

Не знаю, для какой потехи
сомкнул он надо мной овал,
поцеловал, околдовал
на жизнь, на смерть и наповал —
быть вечным узником Метехи.

О, если бы из вод Куры
не пить мне!
И из вод Арагвы
не пить!
И сладости отравы
не ведать!
И лицом в те травы
не падать!

И вернуть дары,
что ты мне, Грузия, дарила!

Но поздно! Уж отпит глоток,
и вечен хмель, и видит бог,
что сон мой о тебе — глубок,
как Алазанская долина.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ В АНТИКВАРНОМ МАГАЗИНЕ

Зачем? — да так, как входят в глушь
осин,
для тишины и праздности гулянья, —
не ведая корысти и желанья,
вошла я в антикварный магазин.

Недобро глянул старый антиквар.
Когда б он не устал за два столетья
лелеять нежной ветхости соцветья,
он вовсе б мне дверей не открывал.

Он опасался грубого вреда
для слабых чаш и хрусталя больного.
Живая подлость возраста иного
была ему враждебна и чужда.

Избрав меня меж прочими людьми,
он кротко приготовился к подвоху,

и ненависть, мешающая вздоху,
возникла в нем с мгновенностью любви.

Меж тем искала выгоды толпа,
и чужеземец, мудростью холодной,
вникал в значение люстры старомодной
и в руки брал бессвязный хор стекла.

Недосчитавшись голоска одной,
в былых балах утраченной подвески,
на грех ее обидевшись по-детски,
он заскучал и захотел домой.

Печальную пылинку серебра
влекла старуха из глубин юдоли,
и тяжела была ее ладони
вся невесомость быта и добра.

Какая грусть — среди сумрачных теплиц
разглядывать осеннее предсмертье
чужих вещей, воспитанных при свете
огней угасших и минувших лиц.

И вот тогда, в открывшейся тиши,
раздался оклик запаха иль цвета:

ко мне взывал и ожидал ответа
невнятный жест неведомой души.

Знакомой боли маленький горнист
трубил, словно в канун стихосложения, —
так требует предмет изображения,
и ты бежишь, как верный пес на свист.

Я знаю эти голоса ничьи.
О, плач всего, что хочет быть воспето!
Навзрыд звучит немая просьба эта,
как крик: — спасите! — грянувший в ночи.

Отчаявшись, до крайности дойдя,
немое горло просьбу излучало.
Я ринулась на зов, и для начала
сказала я: — Не плачь, мое дитя.

— Что вам угодно? — молвил антиквар.—
Здесь все мертво и не способно к плачу.—
Он, все еще надеясь на удачу,
плечом меня теснил и оттирал.

Сведенные враждой, плечом к плечу
стояли мы. Я отвечала сухо:

— Мне, ставшею открытой раной слуха,
угодно слышать все, что я хочу.

— Ступайте прочь! — он гневно повторял.
И вдруг, среди слабоумия сомнений,
в уме моем сверкнул случайно гений
и выпалил: — Подайте тот футляр!

— Тот ларь? — Футляр. — Фонарь?
— Футляр. — Фуляр?
— Помилуйте, футляр из черной кожи. —
Он бледен стал и закричал: — О боже!
Все, что хотите, но не тот футляр.

Я вас прошу, я заклинаю вас!
Вы молоды, вы пахнете бензином!
Ступайте к современным магазинам,
где так велик ассортимент пластмасс.

— Как это мило с вашей стороны, —
сказала я, — я не люблю пластмассы. —
Он мне польстил: — Вы правы и прекрасны.
Вы любите непрочность старины.

Я сам служу ее календарю.
Вот медальон, и в нем портрет ребенка.
Минувший век. Изящная работа.
И все это я вам теперь дарю.

...Печальный ангел с личиком больным.
Надземный взор. Прилежный лоб и локон.
Гроза в июне. Воспаленье в легком.
И тьма небес, закрывшихся за ним...

— Мне горестей своих не занимать,
а вы хотите мне вручить причину
оплакивать всю жизнь его кончину
и в горе обезумевшую мать?

— Тогда сервиз на двадцать шесть
персон! —
воскликнул он, надеждой озаренный. —
В нем сто предметов ценности огромной.
Берите даром — и вопрос решен.

— Какая щедрость и какой сюрприз!
Но двадцать пять моих гостей возможных
всегда в гостях, в бегах неосторожных.
Со мной одной соскучится сервиз.

Как сто предметов я могу развлечь?
Помилуй бог, мне не по силам это.
Нет, я ценю единственность предмета,
вы знаете, о чем веду я речь.

— Как я устал! — промолвил антиквар. —
Мне двести лет. Моя душа истлела.
Берите все! Мне все осточертело!
Пусть все мое теперь уходит к вам.

И он открыл футляр. И на крыльцо
из мглы сеней, на волю из темницы
явился свет и опалил ресницы,
и это было женское лицо.

Не по чертам его — по черноте,
ожегшей ум, по духоте пространства
я вычислила, сколь оно прекрасно,
еще до зренья, в первой слепоте.

Губ полусмехом, полумраком глаз
лицо ее внушало мысль простую:
утратить разум, кануть в тьму пустую,
просить руки, проситься на Кавказ.

Там — соблазнять ленивого стрелка
сверкающей открытостью затылка,
раз навсегда — и все. Стрельба затихла,
и в небе то ли бог, то ль облака.

— Я молод был сто тридцать лет назад,—
проговорился антиквар печальный. —
Сквозь зелень лип, по желтизне песчаной
я каждый день ходил в тот дом и сад.

О, я любил ее не первый год,
целуя воздух и камня сада,
когда проездом — в ад или из ада —
вдруг объявился тот незванный гость.

Вы Ганнибала помните? Мастак
он был в делах, достиг чинов немалых.
Но я о том, что правнук Ганнибалов
случайно оказался в тех местах.

Туземным мраком горячо дыша,
он прыгнул в дверь. Все вмиг
переместилось.

Прислуга, как в грозу, перекрестилась.
И обмерла тогда моя душа.

Чужой сквозняк ударил по стеклу.
Шкаф отвечал разбитою посудой.
Повеяло паленым и простудой.
Свеча погасла. Гость присел к столу.

Когда же вновь затеяли огонь,
склонившись к ней, переменившись разом,
он всем опасным африканским рабством
потупился, как укрощенный конь.

Я ей шепнул: — Позвольте, он урод.
Хоть ростом скромн, и на том спасибо.
— Вы думаете? — так она спросила. —
Мне кажется, совсем наоборот.

Три дня гостил — весь кротость, доброта, —
любой совет считал себе приказом.
А уезжая, вольно пыхнул глазом
и засмеялся красным пеклом рта.

С тех пор явился горестный намек
в лице ее, в его простом порядке.
Над непосильным подвигом разгадки
трудился лоб, а разгадать не мог.

Когда из сна, из глубины тепла
всплывала в ней незрячая улыбка,
она пугалась, будто бы ошибка
лицом ее допущена была.

Но нет, я не уехал на Кавказ.
Я сватался. Она мне отказала.
Не изменив намерений нисколько,
я сватался второй и третий раз.

В столетье том, в тридцать седьмом
году,
по-моему, зимою, да, зимою,
она скончалась, не послав за мною,
без видимой причины и в бреду.

Бессмертным став от горя и любви,
я ведаю этим ничтожным храмом,

толкую с хамом и торгую хламом,
затерянный меж богом и людьми.

Но я утешен мнением молвы,
что все-таки убит он на дуэли.
— Он не убит, а вы мне надоели, —
сказала я, — хоть не виновны вы.

Простите мне желание руки
владеть и взять. Поделим то и это.
Мне — суть предмета, вам — краса
портрета:
в награду, в месть, в угоду, вопреки.

Старик спросил: — Я вас не вверг в печаль
признаньем в этих бедах небывалых?
— Нет, вспомнился мне правнук
Ганнибалов, —
сказала я, — мне лишь его и жаль.

А если вдруг, вкусивший всех наук,
читатель мой заметит справедливо:
— Все это ложь, изложенная длинно. —
Отвечу я: — Конечно, ложь, мой друг.

Весьма бы усложнился трезвый быт,
когда б так поступали антиквары,
и жили вещи, как живые твари,
а тот, другой, был бы и впрямь убит.

Но нет, портрет живет в моем дому!
И звон стекла! И лепет туфель бальных!
И мрак свечей! И правнук Ганнибалов
к сему причастен — судя по всему.

ОЗНОБ

Хвораю, что ли, — третий день дрожу,
как лошадь, ожидающая бега.
Надменный мой сосед по этажу
и тот вскричал:
— Как вы дрожите, Белла!

Но образумьтесь! Странный ваш недуг
колеблет стены и сквозит повсюду.
Моих детей он воспаляет дух
и по ночам звонит в мою посуду.

Ему я отвечала:
— Я дрожу
все более — без умысла худого.
А впрочем, передайте этажу,
что вечером я ухожу из дома.

Но этот трепет так меня трепал,
в мои слова вставлял свои ошибки,
моей ногой приплясывал, мешал
губам соединиться для улыбки.

Сосед мой, перевесившись в пролет,
следил за мной брезгливо, но без
фальши.

Его я обнадежила:

— Пролог

вы наблюдали. Что-то будет дальше?

Моей болезни не скучал сюжет!
В себе я различала, взглядом скорбным,
мельканье диких и чужих существ,
как в капельке воды под микроскопом.

Все тяжелей меня хлестала дрожь,
вбивала в кожу острые гвоздочки.
Так по осине ударяет дождь,
наказывая все ее листочки.

Я думала: как быстро я стою!
Прочь мускулы несутся и режутся!

Мое же тело, свергнув власть мою,
ведет себя свободно и развязно.

Оно все дальше от меня! А вдруг
оно исчезнет вольно и опасно,
как ускользает шар из детских рук
и ниточку разматывает с пальца?

Все это мне не нравилось.
Врачу
сказала я, хоть перед ним робела:
— Я, знаете, горда и не хочу
сносить и впредь непослушанье тела.

Врач объяснил:
— Ваша болезнь проста.
Она была б и вовсе безобидна,
но ваших колебаний частота
препятствует осмотру — вас не видно.

Вот так, когда вибрирует предмет
и велика его движений малость,
он зрительно почти сведен на нет
и выглядит как слабая туманность.

Врач подключил свой золотой прибор
к моим приметам неопределенным,
и острый электрический прибор
охладил меня огнем зеленым.

И ужаснулись стрелка и шкала!
Взыграла ртуть в неистовом подскоке!
Последовал предсмертный всплеск стекла,
и кровь из пальцев высекали осколки.

Встревожься, добрый доктор, оглянись!
Но он, не озадаченный нисколько,
провозгласил:
— Ваш бедный организм
сейчас функционирует нормально.

Мне стало грустно. Знала я сама
свою причастность к этой высшей норме.
Не уместаясь в узости ума,
плыл надо мной ее чрезмерный номер.

И, многозначной цифрою мытарств
наученная, нервная система,
пробившись, как пружины сквозь матрац,
рвала мне кожу и вокруг свистела.

Уродующий кисть огромный пульс
всегда гудел, всегда хотел на волю.
В конце концов казалось: к черту! пусть
им захлебнусь, как Петербург Невою!

А по ночам — мозг наострится, ждет.
Слух так открыт, так взвинчен тишиною,
что, скрипнет дверь иль книга упадет,
и — взрыв! и — все! и — кончено со мною!

Да, я не смела укротить зверей,
в меня вселенных, жрущих кровь из мяса.
При мне всегда стоял сквозняк дверей!
При мне всегда свеча, вдруг вспыхнув,
гасла!

В моих зрачках, нависнув через край,
слезы светлела вечная громада.
Я — все собою портила! Я — рай
растлила б грозным неуютом ада.

Врач выписал мне должную латынь,
и с мудростью, цветущей в человеке,

как музыку по нотным запятым,
ее читала девушка в аптеке.

И вот теперь разнежен весь мой дом
целебным поцелуем валерьяны,
и медицина мятным языком
давно мои зализывает раны.

Сосед доволен, третий раз подряд
он поздравлял меня с выздоровленьем
через своих детей и, говорят,
хвалил меня пред домоуправленьем.

Я отдала визиты и долги,
ответила на письма. Я гуляю,
особо, с пользой делая круги.
Вина в шкафу держать не позволяю.

Вокруг меня — ни звука, ни души.
И стол мой умер и под пылью скрылся.
Уставили во тьму карандаши
тупые и неграмотные рыльца.

И, как у побежденного коня,
мой каждый шаг медлителен, стреножен.
Все хорошо! Но по ночам меня
опасное предчувствие тревожит.

Мой врач еще меня не уличил,
но зря ему я голову морочу,
ведь все, что он лелеял и лечил,
я разом обожгу иль обморожу.

Я, как улитка в костяном гробу,
спасаюсь слепотой и тишиною,
но, поболев, пощекотав во лбу,
рога антенн воспрянут надо мною.

О, звездопад всех точек и тире,
зову тебя, осыпья! Пусть я сгину,
подрагивая в чистом серебре
русалочьих мурашек, жгущих спину!

Ударь в меня, как в бубен, не жалей,
озноб, я вся твоя! Не жить нам розно!
Я — балерина музыки твоей!
Щенок озябший твоего мороза!

Пока еще я не дрожу, о нет,
сейчас о том не может быть и речи.
Но мой предусмотрительный сосед
уже со мною холоден при встрече.

СКАЗКА О ДОЖДЕ
в нескольких эпизодах,
с диалогами и хором детей

Е. Евтушенко

1. Со мной с утра не расставался Дождь.
— О, отвяжись! — я говорю грубо.
Он отступал, но преданно и грустно
вновь шел за мной, как маленькая дочь.
Дождь, как крыло, прирос к моей
спине.

Его корила я:
— Стыдись, негодник!
К тебе в слезах взывает огородник!
Иди к цветам!
Что ты нашел во мне?

Меж тем вокруг стоял суровый зной.
Дождь был со мной, забыв про все
на свете.

Вокруг меня приплясывали дети,
как около машины поливной.

Я, с хитростью в душе, вошла в кафе.
Я спряталась за стол, укрытый нишей.
Дождь за окном пристроился, как нищий,
и сквозь стекло желал пройти ко мне.

Я вышла. И была моя щека
наказана пощечиною влаги,
но тут же Дождь, в печали и отваге,
омыл мне губы запахом щенка.

Я думаю, что вид мой стал смешон.
Сырым платком я шею обвязала.
Дождь на моем плече, как обезьяна,
сидел.
И город этим был смущен.

Обрадованный слабостью моей,
он детским пальцем щекотал мне ухо.
Сгушалась засуха. Все было сухо.
И только я промокла до костей.

2. Но я была в тот дом приглашена,
где строго ждали моего привета,
где над янтарным озером паркета
всходила люстры чистая луна.

Я думала: что делать мне с Дождем?
Ведь он со мной расстаться не захочет.
Он наследит там. Он ковры замочит.
Да с ним меня вообще не пустят в дом.

Я строго объяснила: — Доброта
во мне сильна, но все ж
не безгранична.
Тебе ходить со мною неприлично. —
Дождь на меня смотрел, как сирота.

— Ну, черт с тобой, — решила я, — иди!
Какой любовью на меня ты пролит?
Ах, этот странный климат, будь он
проклят! —
Прощенный Дождь запрыгал впереди.

3. Хозяин дома оказал мне честь,
которой я не стоила. Однако,
промокшая всей шкурой, как ондатра,
я у дверей звонила ровно в шесть.

Дождь, притаившись за моей спиной,
дышал в затылок жалко и щекотно.

Шаги — глазок — молчание — щеколда.
Я извинилась: — Этот Дождь со мной.

Позвольте, он побудет на крыльце?
Он слишком влажный, слишком
удлиненный
для комнат.

— Вот как? — молвил удивленный
хозяин, изменившийся в лице.

4. Признаться, я любила этот дом.
В нем свой балет всегда вершила
легкость.

О, здесь углы не ушибают локоть,
здесь палец не порежется ножом.

Любила все: как медленно хрустят
шелка хозяйки, затененной шарфом,
и, более всего, плененный шкафом —
мою царевну спящую — хрусталь.

Тот, в семь румянцев розовевший
спектр,
в гробу стеклянном, мертвый и
прелестный.

Но я очнулась. Ритуал приветствий,
как опера, станцован был и спет.

5. Хозяйка дома, честно говоря,
меня бы не любила непременно,
но робость поступить несовременно
чуть-чуть мешала ей, что было зря.

— Как поживаете? (О, блеск грозы,
смирный в тонком горлышке
гордячки!)

— Благодарю, — сказала я, — в горячке
я провалялась, как свинья в грязи.

(Со мной творилось что-то в этот раз.
Ведь я хотела, поклонившись слабо,
сказать:

— Живу хоть суетно, но славно,
тем более что снова вижу вас.)

Она произнесла:

— Я вас браню.

Помилуйте, такая одаренность!

Сквозь дождь! И расстоянья
отдаленность! —

— Не слушайте меня! Ведь я в бреду! —
просила я. — Все это Дождь наделал.
Он целый день меня казнил, как демон.
Да, это Дождь вовлек меня в беду.

И вдруг я увидела — там, в окне,
мой верный Дождь один стоял и плакал.
В моих глазах двумя слезами плавал
лишь след его, оставшийся во мне.

6. Одна из гостей, протянув бокал,
туманная, как голубь над карнизом,
спросила с неприязнью и капризом:
— Скажите, правда, что ваш муж богат?

— Богат ли он? Не знаю. Не вполне.
Но он богат. Ему легка работа.
Хотите знать один секрет? — есть

что-то

неизлечимо нищее во мне.

Его я научила колдовству —
во мне была такая откровенность! —
он разом обратит любую ценность
в круг на воде, в зверька или траву.

Я докажу вам! Дайте мне кольцо.
Спасем звезду из тесноты колючка! —
Она кольца мне не дала, конечно,
в недоуменьи отстранив лицо.

— И, знаете, еще одна деталь —
меня влечет подохнуть под забором.
(Язык мой так и воспалился вздором.
О, это Дождь твердил мне свой диктант.)

7. Все, Дождь, тебе припомнится потом!
Другая гостья, голосом глубоким,
осведомилась:
— Одаренных богом
кто одаряет? И каким путем?

Как погремушкой, мной гремел озноб:
— Приходит бог, преласков и превесел,
немного старомоден, как профессор,
и милостью ваш осеняет лоб.

А далее — летите вверх и вниз,
в кровь разбивая локти и колени
о снег, о воздух, об углы Кваренги,
о простыни гостиниц и больниц.

Василия Блаженного, в зубах,
тот острый купол помните?

Представьте —

всей кожей об него!

— Да вы присядьте! —

она меня одернула в сердцах.

8. Тем временем, для радости гостей,
творилось что-то новое, родное:
в гостиную впускали кружевное,
серебряное облако детей.

Хозяюшка, прости меня, я зла!
Я все лгала, я поступала дурно!
В тебе, как на губах у стеклодува,
явился выдох чистого стекла.

Душой твоей насыщенный сосуд,
дитя твое, отлитое так нежно!
Как точен контур, обводящий нечто!
О том не знала я, не обессудь.

Хозяюшка, звериный гений твой
в отчаяньи вседенном и всенощном

над детищем твоим, о, над сыночком
великой поникает головой.

Дождь мои губы звал к ее руке.
Я плакала:
— Прости меня! Прости же!
Глаза твои премудры и пречисты!

9. Тут хор детей возник

невдалеке:

Наш номер был объявлен.
Уста младенцев. Жуть.
Мы — яблочки от яблонь.
Вот наша месть и суть.

Вниманье! Детский лепет.
Мы вас не подведем.
Не зря великолепен
Камин, согревший дом.

В лопатках — холод милый
и сстрия двух крыл.
Нам кожу алюминий,
как изморозь, покрыл.

Чтоб было жить не скучно,
нас трогает порой
искусствочко, искусство,
ребеночек чужой.

Дождливость есть оплошность
пустых небес. Ура!
О, пошлость, ты не подлость,
ты лишь уют ума.

От боли и от гнева
ты нас спасешь потом.
Целуем, королева,
твой бархатный подол!

10. Лень, как болезнь, во мне смыкала

круг.

Мое плечо вело чужую руку.
Я, как птенца, в ладони грела рюмку.
Попискивал ее открытый клюв.

Хозяюшка, вы ощущали грусть
над мальчиком, заснувшим спозаранку,

в уста его, в ту алчущую ранку,
отравленную проливая грудь?

Вдруг в нем, как в перламутровом яйце,
спала пружина музыки согбенной?
Как радуга — в бутоне краски белой?
Как тайный мускул красоты — в лице?

Как в Сашеньке — непробужденный
Блок?

Медведица, вы для какой забавы
в детеныше влюбленными зубами
выщелкивали бога, словно блох?

11. Хозяйка налила мне коньяка:
— Вас лихорадит. Грейтесь у камина. —
Прощай, мой Дождь!
Как весело, как мило
принять мороз на кончик языка!

Как крепко пахнет розой от вина!
Вино, лишь ты ни в чем не виновато.

Во мне расщеплен атом винограда.
Во мне горит двух разных роз война.

Вино мое, я твой заблудший князь,
привязанный к двум деревьям
склоненным.

Разъединяй! Не бойся же! Со звоном
меня со мной пусть разлучает казнь!

Я делаюсь все больше, все добрей!
Смотрите — я уже добра, как клоун,
вам в ноги опрокинутый поклоном!
Уж мне тесно средь окон и дверей!

О, господи, какая доброта!
Скорей! Жалеть до слез! Пасть
на колени!

Я вас люблю! Застенчивость калеки
бледнит мне щеки и кривит уста.

Что сделать мне для вас хотя бы раз?
Обидьте! Не жалейте, обижая!

Вот кожа моя — голая, большая:
как холст для красок, чист простор
для ран!

Я вас люблю без меры и стыда!
Как небеса, круглы мои объятия.
Мы из одной купели. Все мы братья.
Мой мальчик, Дождь! Скорей иди сюда!

12. Прошел по спинам быстрый холодок.
В тиши раздался страшный крик
хозяйки.

И ржавые, оранжевые знаки
вдруг выплыли на белый потолок.

И — хлынул Дождь! Его ловили в таз.
В него впивались веники и щетки.
Он вырывался. Он летел на щеки,
прозрачной слепотой вставал у глаз.

Отплясывал нечаянный канкан.
Звенел, играя с хрусталем воскресшим.

Дом над Дождем уж замыкал свой
скрежет,
как мышцы обрывающий капкан.

Дождь с выраженьем ласки и тоски,
паркет марая, полз ко мне на брюхе.
В него мужчины, поднимая брюки,
примерившись, вбивали каблуки.

Его скрутили тряпкой половой
и выжимали, брезгуя, в уборной.
Гортанью, вдруг охрипшей и убогой,
кричала я:

— Не трогайте! Он мой!

Он был живой, как зверь или дитя.
О, вашим детям жить в беде и муке!
Слепые, тайн не знающие руки
зачем вы окунули в кровь Дождя?

Хозяин дома прошептал:

— Учти,

еще ответишь ты за эту встречу! —

Я засмеялась:

— Знаю, что отвечу.

Вы безобразны. Дайте мне пройти.

13. Пугал прохожих вид моей беды.

Я говорила:

— Ничего. Оставьте.

Пройдет и это. —

На сухом асфальте

я целовала пятнышко воды.

Земли перекалялась нагота,

и горизонт вокруг города был розов.

Повергнутое в страх Бюро прогнозов

осадков не сулило никогда.

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

От автора

Вычисляя свою родословную, я не имела в виду сосредоточить внимание читателя на долгих обстоятельствах именно моего возникновения в мире: это было бы слишком самоуверенной и несвоевременной попыткой. Я хотела, чтобы героем этой истории стал Человек, любовью, еще не рожденный, но как — если бы это было возможно — страстно, нетерпеливо желающий жизни, истомленный ее счастливым предчувствием и острым морозом тревоги, что оно может не сбыться. От сколького он зависит в своей беззащитности, этот еще не существующий ребенок: от малой случайности и от великих трагедий. Но все же он выиграет в этой борьбе, и сильная, горячая, вечно прекрасная Жизнь придет к нему и одарит его своим справедливым, несравненным благом.

Проверив это удачей моего рождения, ничем не отличающегося от всех других рождений, я обратилась благодарной памятью к реальным людям и событиям, от которых оно так или иначе зависело.

Девичья фамилия моей бабушки по материнской линии — Стопани — была привнесена в Россию итальянским шарманщиком, который положил начало роду, ставшему впоследствии совершенно русским, но все же прочно, во многих поколениях украшенному яркой чернотой волос и глубокой, выпуклой теменью глаз. Родной брат бабушки, чье доброе влияние навсегда определило ее судьбу, Александр Митрофанович Стопани, стал известным революционером, сподвижником Ленина по работе в «Искре» и съездам РСДРП. Разумеется, эти стихи, упоминающие его имя, скажут о нем меньше, чем живые и точные воспоминания близких ему людей, из коих многие ныне здравствуют.

Дед моего отца, тяжело терпевший свое казанское сиротство в лихой и многотрудной бедности, именем своим объясняет простой секрет моей татарской фамилии.

Люди эти, познавшие испытания счастья и несчастья, допустившие к милому миру мои дыхание и зрение, представляются мне прекрасными — не больше и не меньше прекрасными, чем все люди, живущие и грядущие жить на белом свете, вершащие в нем непреклонное добро Труда, Свободы, Любви и Таланта.

1

...И я спала все прошлые века
светло и тихо в глубине природы.
В сырой земле, черней черновика,
души моей лишь намечались всходы.

Прекрасна мысль — их поливать водой!
Мой стебелек, желающий прибавки,
вытягивать магнитною звездой —
поторопитесь, прадеды, прабабки!

Читатель милый, поиграй со мной!
Мы два столетья вспомним в этих
играх.

Представь себе: стоит к тебе спиной
мой дальний предок, непреклонный
Игрек.

Лицо его пустынно, как пустырь,
не улыбнется, слова не проронит.
Всех сыновей он по миру пустил.
и дочери он монастырь пророчит.

Я говорю ему:
— Старик дурной!
Твой лютый гнев чья доброта
поправит?
Я б разминуться предпочла с тобой,
но все ж ты мне в какой-то мере
прадед.

В унылой келье дочь губить не смей!
Ведь, если ты не сжалишься над нею,
как много жизней сгинет вместе с ней,
и я тогда родиться не сумею!

Он удивлен и говорит:
— Чур, чур!
Ты кто?
Рассейся, слабая туманность! —
Я говорю:
— Я — нечто.
Я — чуть-чуть,
грядущей жизни маленькая малость.

И нет меня. Но как хочу я быть!
Дождусь ли дня, когда мой первый
возглас

опустошит гортань, чтоб пригубить,
о Жизнь, твой острый, бьющий
в ноздри воздух?

Возражение Игрека:

— Не дожدهшься, шиш! И в том
я клянусь кривым котом,
приоткрывшим глаз зловецкий,
худобой вороны вещей,
крылья вскинувшей крестом,
жабой, в тине разомлевшей,
смертью, тело одолевшей,
белизной ее белейшей
на кладбище роковом.

Примечание автора:

Между прочим, я дождусь,
в чем торжественно клянусь
жизнью вечной, влагой вешней,
каждой веточкой расцветшей,
зверем, деревом, жуком
и высоким животом

той прекрасной, первой встречной,
женщины добросердечной,
полной тайны бесконечной,
и красавицы притом.

— Помолчи. Я — вечный Игрек.
Безрассудна речь твоя.
Пусть я изверг, пусть я ирод,
я-то — есть, а нет — тебя.
И не будет! Как не будет
с дочерью моей греха.
Как усопших не разбудит
восклицанье петуха.
Холод мой твой пыл остудит.
Не бывать тебе! Ха-ха.

2

Каков мерзавец! Пусть он держит
речь.
Нет полномочий у его злодейства,
чтоб тесноту природы убересть
от новизны грядущего младенца.

Пуускай договорит он до конца,
простак недобрый, так и не прознавший,
что уж слетают с отчего крыльца
два локотка, два крылышка прозрачных.

Ах, итальянка, девочка, пра-пра-
прабабушка! Неправедны, да правы
поправшие все правила добра,
любви твоей проступки и забавы.

Поникни удрученной головой!
Поверь лгуну! Не промедляй
сомненья!

Не он, а я, я — искуситель твой,
затем, что алчу я возникновенья.

Спаси меня! Не плачь и не тани!
Отдай себя на эту злую милость!
Отсутствуя в таинственной тени,
небытием моим я утомилась.

И там, в моей дожизни неживой,
смертельного я натерпелась страху,

пока тебя учил родитель твой:
«Не смей! Не знай!» — и по щекам
с размаху.

На волоске вишу! А вдруг тверда
окажется науки той твердыня?
И все. Привет. Не быть мне ни-ко-гда.
Но, милая, ты знала, что творила,

когда в окно, в темно, в полночный сад
ты канула давно, неосторожно.
А он — так глуп, так мил и так усат,
что, право, невозможно... невозможно...

Благословляю в райском том саду
и дерева, и яблоки, и змия,
и ту беду, бог весть в каком году,
и грешницу по имени Мария.

Да здравствует твой слабый, чистый
след
и дальновидный подвиг той ошибки!
Вернется через полтора года лет
к моим губам прилив твоей улыбки.

Но боговым суровым облакам
не жалуйся! Вот вырастет твой мальчик—
наплачешься. Он вступит в балаган.
Он обезьяну купит. Он — шарманщик.

Прощай же! Он прощается с тобой,
и я прощусь. Прости нас, итальянка!
Мне нравится шарманщик молодой,
и обезьянка не чужда таланта.

Песенка шарманщика:

В саду личинка
выжить старается.
Санта Лючия,
мне это нравится!

Горсточка мусора —
тяжесть кармана.
Здравствуйте, музыка
и обезьяна!

Милая Генуя
нянчила мальчика,

думала — гения,
вышло — шарманщика!

Если нас улица
петь обязала,
пой, моя умница,
пой, обезьяна!

Сколько народу!
Мы с тобой — невидаль.
Стража, как воду,
ловит нас неводом.

Добрые люди,
в гуще базарной,
ах, как вам любы
мы с обезьяной!

Хочется мускулам
в дали летящие
ринуться с музыкой,
спрятанной в ящике.

Ах, есть причина,
всему причина,

Са-а-нта-а Лю-у-чия,
Санта-а Люч-ния!

3

Уж я не знаю, что его влекло:
корысть, иль блажь, иль зов любви
неблизкой,
но некогда в российское село —
ура, ура! — шут прибыл италийский.

А кстати, хороша бы я была,
когда бы он не прибыл, не прокрался.
И солнцем ты, Италия, светла,
и морем ты, Италия, прекрасна.

Но, будь добра, шарманщику
не снись,
так властен в нем зов твоего соблазна,
так влажен образ твой между ресниц,
что он — о, ужас! — в дальний путь
собрался.

Не отпускай его, земля моя!
Будь он неладен, странник одержимый!
В конце концов он доведет меня,
что я рожусь вне родины родимой.

Еще мне только не хватало: ждать
себя так долго в нетях нелюдных,
мужчин и женщин стольких утруждать
рождением предков, мне необходимых,

и не рождаться столько лет подряд, —
рожусь ли? — все игра орла и решки, —
и вот непоправимо, невпопад,
в чужой земле, под звуки чуждой речи,

вдруг появиться для житья-бытья.
Спасибо. Нет. Мне не подходит это.
Во-первых, я — тогда уже не я,
что очень усложняет суть предмета.

Но, если б даже, чтобы стать
не мной,

а кем-то, был мне грустный пропуск
выдан, —

все ж не хочу свершить в земле иной
мой первый вдох и мой последний
выдох.

Там и останусь, где душе моей
сулили жизнь, безжизньем истомили
и бросили на произвол теней
в домарксовом, нематерьяльном мире.

Но я шучу. Предупредить решусь:
отвергнув бремя немощи досадной,
во что бы то ни стало я рожусь
в своей земле, в апреле, в день десятый.

...Итак, сто двадцать восемь лет назад
в России остается мой шарманщик.

4

Одновременно нужен азиат,
что нищенствует где-то и шаманит.

Он пригодится только через век.
Пока ж — пускай он по задворкам
ходит,

старье берет или вершит набег,
пускай вообще он делает, что хочет.

Он в узкоглазом племени своем
так узкоглаз, что все давались диву,
когда он шел, черно кося зрачком,
большой ноздрей принюхиваясь к дыму.

Он нищ и гол, а все ж ему хвала!
Он сыт ничем, живет нигде, но рядом —
его меньшей сынок Ахмадулла,
как солнышком, сияет желтым задом.

Сияй, играй, мой друг Ахмадулла,
расти скорей, гляди продолговато.
А дальше так пойдут твои дела:
твой сын Валея будет отцом Ахата.

Ахатовной мне быть наверняка,
явиться в мир, как с привязи сорваться,
и усеченной полумглой зрачка
все ж выразить открытый взор
славянства.

*Вольное изложение
таатарской песни:*

Мне скакать, мне в степи озираться,
разорять караваны во мгле.
Незапамятный дух азиатства
тяжело колобродит во мне.

Мы в костре угольки шуровали.
Как врага, я ловил ее в плен.
Как тесно облегли шаровары
золотые мечети колен!

Быстроту этих глаз, чуть косивших,
я, как птиц, целовал на лету.
Семью семь ее черных косичек
обратил я в одну темноту.

В поле — пахарь, а в воинстве — воин
будет тот, в ком воскреснет мой прах.
Средь живых — прав навеки, кто волен,
среди умерших — бессмертен, кто прав.

Эге-гей! Эта жизнь неизбывна!
Как свежо мне в ее ширине!

И ликует, и свищет зазывно,
и трясет бородой шурале.

5

Меж тем шарманщик странно поражен
лицом рябым, косицею железной:
чуть голубой, как сабля из ножен,
дворяночкой худой и бесполезной.

Бедняжечка, она несла к венцу
лба узенького детскую прыщавость,
которая ей так была к лицу
и за которую ей все прощалось.

А далее все шло само собой:
сближались лица, упали руки,
и в сумерках губернии глухой
старели дети, подрастали внуки.

Церквушкой бедной перекрещена,
упрощена полями да степями,
уже по-русски, ударяя в «а»,
звучит себе фамилия Стопани.

О, старина, начало той семьи —
 две барышни, чья маленькая
повесть
 печальная осталась там, вдали,
 где ныне пусто, лишь трава по пояс.

То ль итальянца темная печаль,
 то ль этой жизни мертвенная
скудость
 придали вечный холодок плечам,
 что шалью не утешить, не окутать.

Как матери влюбленная корысть
 над вашей красотой колдовала!
 Шарманкой деда вас не укорить,
 придавлена приданым кладовая.

Но ваших уст не украшает смех,
 и не придать вам радости приданым.
 Пребудут в мире ваши жизнь и смерть
 недобрым и таинственным преданьем.

Недуг неимоверный, для чего
ты озарил своею вспышкой белой
не гения просторное чело,
а двух детей рассудок неумелый?

В какую малость целишь свой прыжок,
словно в Помпею слабую — Везувий?
Не слишком ли огромен твой ожог
для лобика Офелии безумной?

Ученые жить скупы да с умом,
красавицы с огромными глазами
сошли с ума, и милосердный дом
их обряжал и орошал слезами.

Справка об их болезни:

«Справка выдана в том...»
О, как гром в этот дом
бьет огнем и метель колесом колесит.
Ранит голову грохот огромный.
И в тон
там, внизу, голосят голоски клавишин.

О, сестра, дай мне льда. Уж пробил и
пропел
час полуночи. Льдом заострилась вода.
Остудить моей памяти черный пробел —
дай же, дай же мне белого льда.

Словно мост мой последний, пылает мой
мозг,
острый остров сиротства замкнув навсегда.
О, Наташа, сестра, мне бы лед так помог!
Дай же, дай же мне белого льда.

Малый разум мой вырос в огромный мотор,
вкруг себя он вращает людей, города.
Не распутать мне той карусели моток.
Дай же, дай же мне белого льда.

В пекле казни горю Иоанною д'Арк,
свист зевак, лай собак, а я так молода.
Океан Ледовитый, пошли мне свой дар!
Дай же, дай же мне белого льда!

Справка выдана в том, что чрезмерен был
стон
в малом горле.

Но ныне беда —
позабыта.
Земля утешает их сон
милосердием белого льда.

7

Конец столетья. Резкий крен основ.
Волненье. Что там? Выстрел. Мещанина.
Пронзительный русалочий озноб
вдруг потрясает тело мещанина.

Предчувствие серьезной новизны
томит и возбуждает человека.
В тревоге пред-войны и пред-весны,
в тумане вечеряющего века

мерцает лбом симбирский гимназист,
и, ширясь там, меж Волгою и Леной,
тот свежий свет так остросеребрист
и так существенен в судьбе вселенной.

Тем временем Стопани Александр
ведет себя опально и престранно.
Друзей своих он увлекает в сад,
и речь его опасна и пространна.

Он говорит:

— Прекрасен человек,
принявший дар дыхания и зренья.
В его коленях спит грядущий бег
и в разуме живет инстинкт творенья.

Все для него: ему назначен мед
земных растений, труд ему угоден.
Но все ж он бездыханен, слеп и мертв
до той поры, пока он не свободен.

Пока его хранимый богом враг
ломает прямизну его коленей
и примеряет шутовской колпак
к его морщинам, выдающим гений,

пока к его дыханию приник
смертельно-душной духотою горя
железного мундира воротник,
сомкнувшийся вокруг пушкинского горла.

Но все же он познает торжество
пред вечным правосудием природы.
Уж дерзок он. Стесняет грудь его
желание движенья и свободы.

Пусть завершится зрелостью дерев
младенчество зеленого побега.
Пусть нашу волю обостряет гнев,
а нашу смерть вознаградит победа.

Быть может, этот монолог в саду
неточно я передаю стихами,
но точно то, что в этом же году
был арестован Александр Стопани.

Комментарии жандарма:

Всем, кто бунты разжигал, —
всем студентам
(о стыде-то
не подумают),
жидам,
и певцу, что пел свободу,
и глупцу, что быть собою
обязательно желал, —
всем отвечу я, жандарм,
всем я должное воздам.

Всех, кто смелостью повадок
посягает на порядок
высочайших правд, парадов, —

вольнодумцев неприятных,
а поэтов и подавно, —
я их всех тюрьмой порадую
и засов задвину сам.
В чем клянусь верностью государю
императору
и здоровьем милых дам.

О, распушенность природы!
Дети в ней — и те пророки,
красок яркие мазки
возбуждают все мозги.
Ликовала, оживала,
напустила в белый свет
леопарда и жирафа,
Леонардо и Джордано,
все кричит, имеет цвет.
Слава богу, власть жандарма
все, что есть, сведет на нет.

(Примечание автора:

Между прочим, тот жандарм
ждал награды, хлеб жевал,

жил неважно, кончил плохо,
не заметила эпоха,
как подох он.
Никто на похороны
ни копейки не дал.)

Знают люди, знают дети:
я — бессмертен. Я — жандарм.
А тебе на этом свете
появиться я не дам.

8

Каков мерзавец! Пусть болтает вздор,
повелевают вечность и мгновенность —
земле лететь, вершить глубокий вздох
и соблюдать свою закономерность.

Как надобно ведет себя земля
уже в пределах нового столетья,
и в май маевок бабушка моя
несет двух глаз огромные соцветья.

Что голосок той девочки твердит,
и плечики на что идут войною?

Над нею вновь смыкается вердикт:
«Виновна ли?» — «Да, тягостно виновна!»

По следу брата, веруя ему,
она вкусила пыль дорог протяжных,
переступала из тюрьмы в тюрьму,
привыкла к монотонности присяжных.

И скоро уж на мужнины: щеках
в два солнышка закатится чахотка.
Но есть все основания считать:
она грустит, а все же ждет чего-то.

В какую даль теперь ее везут
небыстрые подковы Росинанта?
Но по тому, как снег берет на зуб,
как любит, чтоб сверкал и расстирался,
я узнаю твой облик, россиянка.
В глазах черно от белого сиянья!
Как холодно! Как лошади несут!

Выходит. Вдруг — мороз ей нов и чужд.
Сугробов белолобые телята
к ладоням льнут. Младенческая чушь
смешит уста. И нежно и чуть-чуть

в ней в полщеки проглянет итальянка,
и в чистой мгле ее лица таятся
движения неведомых причуд.

Все ждет. И ей — то страшно, то смешно.
И похудела. Смотрит остроносо
куда-то ввысь. Лицо усложнено
всезнающей улыбкой астронома!

В ней сильный пульс играет вкось
и вкривь
Ей все нужней, все тяжелей работа.
Мне кажется, что скоро грянет крик
доселе неизвестного ребенка.

9

Грянь и ты, месяц первый, Октябрь,
на твоём повороте мгновенном
электричеством бьет по локтям
острый угол меж веком и веком.

Узнаю изначальный твой гул,
оглашающий древние своды,

по огромной округлости губ,
называющих имя Свободы.

О, три слога! Рев сильных широт
отворенной гортани!
Как в красных
и предельных объемах шаров —
тесно воздуху в трех этих гласных.

Дай, Свобода, высокий твой верх
видеть, знать в небосводе затихшем,
как бредущий в степи человек
близость звезд ощущает затылком.

Приближай свою ласку к земле,
совершающей дивную дивность,
навсегда предрешившей во мне
свою боль, и любовь, и родимость.

10

Ну что ж. Уже все ближе, все верней
расчет, что попаду я в эту повесть,
конечно, если появиться в ней
мне Игрека не помешает происк.

Все непременно чередом идет,
двадцатый век наводит свой порядок,
подрагивает, словно самолет,
предслыша небо серебром лопаток.

А та, что перламутровым белком
глядит чуть вкось, чуть невтопад
и странно,
ступившая, как дети на балкон,
на край любви, на острие пространства,

та, над которой в горлышко, как в горн,
дудит апрель, насытивший скворешник, —
нацеленный в меня, прости ей, гром! —
она мне мать, и перемен скорейших
ей предстоит удача и печаль.

А ты, о Жизнь, мой мальчик непоседа,
спеши вперед и понукай педаль
открывшего крыла велосипеда.

Пусть роль срою сыграет азиат —
он белокур, как белая ворона,
как гончую, его влечет азарт
по следу, вдаль, и точно в те ворота,

где ждут его, где воспринять должны
двух острых скул опасность и подарок.
Округлое дитя из тишины
появится, как слово из помарок.

11

Я — скоро. Но покуда нет меня.
Я — где-то там, в преддверии природы.
Вот-вот окликнут, разрешат — и я
с готовностью возникну на пороге.

Я жду рожденья, я спешу теперь,
как посетитель в тягостной приемной,
пробить бюрократическую дверь
всем телом — и предстать в ее проеме.

Ужо рожусь! Еще не рождена.
Еще не пала вещая щеколда.
Никто не знает, что я — вот она,
темно, смешно. Апчхи! В носу щекотно.

Вот так играют дети, прячась в шкаф,
испытывая радость отдаленья.

Сейчас расхожусь! Нет сил! И ка-ак
вдруг вывалюсь вам всем на удивленье!

Таюсь, тянусь, претерпеваю рост,
вломлюсь птенцом горячим, косоротым —
ловить губами воздух, словно гроздь,
наполненную спелым кислородом.

Сравнится ль бледный холодок актрис,
трепещущих, что славы не добьются,
с моим волнением среди тех кулис,
в потемках, за минуту до дебюта!

Еще не знает речи голос мой,
еще не сбился в легких вздох голодный.
Мир наблюдает смутной белизной,
сурово излучаемой галеркой.

(Как я смогу, как я сыграю роль
усильем безрассудства молодого?
О, перейти, преодолевая боль,
от немоты к началу монолога!

Как стеклодув, чьи сильные уста
взрастили дивный плод стекла простого,

играть и знать, что жизнь твоя проста
и выдох твой имеет форму слова.

Иль как печник, что, краснотую труб
замаранный, сидит верхом на доме,
захотать и ощутить свой труд
блаженною усталостью ладони.

Так пусть же грянет тот театр, тот бой
меж «да» и «нет», небытием и бытом,
где человек обязан быть собой
и каждым нерожденным и убитым.

Своим добром он возместит земле
всех сыновей ее, в ней погребенных.
Вершит всевечный свой восход во мгле
огромный, голый, золотой Ребенок.)

Уж выход мой! Мурашками, спиной
предчувствую прыжок свой на арену.
Уже объявлен год тридцать седьмой.
Сейчас, сейчас — дадут звонок к апрелю.

Реплика доброжелателя:

О нечто, крошка, пустота,
еще не девочка, не мальчик,
ничто, чужого пустяка
пустой и маленький туманчик!

Зачем, неведомый радист,
ты шлешь сигналы пробужденья?
Повремени и не родись,
не попади в беду рожденья.

Нераспрямленный организм,
закрученный кривой пружинкой,
о, образумься и очнись!
Я — умник, много лет проживший,—

я говорю: потом, потом
тебе родиться будет лучше.
А не родишься — что же, в том
все ж есть свое благополучье.

Помедли двадцать лет хотя б,
утешься беззаботной ленью,

блаженной слепотой котят,
столь равнодушных к утопленью.

Что так не терпится тебе,
и, как птенец в тюрьме скорлупок,
ты спешку точек и тире
все выбиваешь клювом глупым?

Чем плохо там — во тьме пустой,
где нет тебе ни слез, ни горя?
Куда ты так спешишь? Постой!
Родится что-нибудь другое.

Примечание автора:

Ах, умник! И другое пусть
родится тоже непременно, —
всей музыкой озвучен пульс,
прям позвоночник, как антенна.

Но для чего же мне во вред
ему прийти и стать собою?
Что ж, он займет весь белый свет
своею малой худобою?

Мне отведенный кислород,
которого я жду веками,
неужто он до дна допьет
один, огромными глотками?

Моих друзей он станет звать
своими? Все наглей, все дальше
они там будут жить, гулять
и про меня не вспомнят даже?

А мой родимый, верный труд,
в глаза глядящий так тревожно,
чужою властью новых рук
ужели приручить возможно?

Ну, нет! В какой во тьме пустой?
Сам там сиди. Довольно. Дудки.
Наскучив мной, меня в простор
выбрасывают виадудки!

И в солнце, среди синевы
расцветшее, нацелясь мною,
меня спускают с тетивы
стрелюю с тонкою спиною.

Веселый центробежный вихрь
меня из круга вырвать хочет.
О, Жизнь, в твою орбиту вник
меня таинственный комочек!

Твой золотой круговорот
так призывает к полнокровью,
словно сладчайший огород,
красно дразнящий рот морковью.

О, Жизнь любимая, пускай
потом накажешь всем и смертью,
но только выуди, поймай,
достань меня своею сетью!

Дай выгадать мне белый свет —
одну-единственную пользу!

— Припомнишь, дура, мой совет
когда-нибудь, да будет поздно.

Зачем ты ломишься во вход,
откуда нет освобожденья?
Ведь более удачный год
ты сможешь выбрать для рожденья.

Как безопасно, как легко,
вне гнева века или ветра —
не стать. И не принять лицо,
талант и имя человека.

12

Каков мерзавец! Но, среди всех затей,
любой наш год — утешен, обнадёжен
неистовым рождением детей,
мельканьем ножек, пестротой одежек.

И в их великий и всемирный рев,
захлебом насыщая древний голод,
гортань прорезав чистым острием,
вонзился мой, ожегший губы голос!

Пусть вечно он благодарит тебя,
земля меня исторгшая, родная,
в печаль и в радость, и в трубу трубя,
и в маленькую дудочку играя.

Мне нравится, что Жизнь всегда права,
что празднует в ней вечная повадка —

топырить корни, ставить деревья
и мсж ветвей готовить плод подарка.

Пребуду в ней до края, до конца,
а пред концом — воздам благодаренье
всем девочкам, слетающим с крыльца,
всем людям, совершающим творенье.

13

Что еще вам сказать?

Я не знаю, я одобрена вами
иль справедливо и бегло охаяна.

Но проносятся пусть надо мной
ваши лица и ваши слова.

Написала все это Ахмадулина

Белла Ахатовна.

Год рождения — 1937. Место

рождения —

город Москва.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Мотороллер	3
Ночь	6
Газированная вода	9
Магнитофон	11
Маленькие самолеты	14
Вступление в простуду	17
Болезнь	19
Сон	22
Мои товарищи	25
«По улице моей который год...»	28
Другое	30
Немота	31
Слово	33
Осень	36
Тоска по Лермонтову	37
Стихотворение, написанное во время бессонницы в Тбилиси	42
Уроки музыки	44
Свеча	46
Пейзаж	47
Воскресный день	48

Сумерки	53
В опустевшем доме отдыха	56
Грузинских женщин имена...	59
Зима	61
Зимняя замкнутость	63
«Я думаю: как я была глупа...»	69
«Случилось так, что двадцати семи...»	71
Гостить у художника	73
Плохая весна	78
«Он утверждал — «Между теплиц...»	84
Приключение в антикварном магазине	86
Озноб	97
Сказка о дожде	105
Моя родословная	121

Р 2
А 95

Ахмадулина Белла Ахатовна
УРОКИ МУЗЫКИ

М., «Советский писатель», 1969, 160 стр.
Тем. план выпуска 1968 г. № 139

Редакторы Д. Н. Голубков,
В. С. Фогельсон
Худож. редактор В. В. Медведев
Техн. редактор Т. С. Ступникова
Корректор С. И. Малкина

Сдано в набор 17/V 68 г.
Подписано к печати 12/VIII 69 г.
А 06094.

Бумага 70×90¹/₃₂ № 1.
Печ. л. 5 (5,85). Уч.-изд. л. 4,07.
Тираж 20 000 экз. Заказ № 399.
Цена 42 коп.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнездииковский пер., 10

Отпечатано с набора
Московской типографии № 7
в Тульской типографии
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР,
г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.

7-4-2

139—68

42 коп.

